

Александр БАЛТИН

ХРОНИКА МАЛЕНЬКОЙ ЖИЗНИ

Утки плавали на пруду, их кормили, стоя на бетонных бортиках.

Лодки, сдававшиеся напрокат, привлекали внимание мальчика, и отец, с которым гуляли по скверу ЦТСА, решил покатать его; и мальчик, глядя, как папа гребёт, вглядывался в расколы и разломы воды, игравшие на июльском солнце.

— Па, кто такой Аид?

— Аид? Почему ты спрашиваешь?

— Встретил где-то...

Мальчик недавно стал читать.

— Аид, сынок, это у древних греков царь подземного мира.

— Подземного? Как это, па?

Селезень, чья шея переливается изумрудно, проплывает близко от борта лодки.

— Ну, у греков были такие боги... Три главных брата: Зевс, самый главный, Посейдон, бог морей, и Аид — подземного царства. То есть — царства мёртвых...

Вода пруда переливается, оливково чернея.

— А боги бывают, пап?

— Что ты, мальчик, это просто человеческие фантазии...

Лодка тыкается в берег, пора выходить, время закончилось.

Оно всегда заканчивается, но мальчик не знает ещё об этом: он думает, что будет вечно жить: с папой и мамой, в большой коммунальной квартире, в огромном доме...

Выходят из лодки.

Рельеф сквера красив, и папа с сыном, разговаривая, вероятно, выходят в пространство города, минуют огромный, в форме звезды исполненный театр Советской армии и вдоль трамвайных линий идут и идут к этому дому: старинной постройки, массивному, где живут на первом этаже, так что можно вылезти прямо во двор.

Решётки вделали потом...

Пока отец и сын проходят стадион, словно вдвинутый в глубину между домами, оставляют позади старинное здание: красивое и таинственное. Трамвайная развилка, и — церковь, красным взрывом поднимающаяся в высоту летнего воздуха. Но церковь на тот момент почти под запретом.

Подземный переход, станция метро, оставшаяся позади, и — дом: жёлтого цвета, серьёзной массивности, кажущийся насупленным, но такой надёжный...

Узкий перешеек между ним и другими — гораздо более низкими, небольшой разлив двора с простенькой площадкой: сплошной круг карусели, невысокая горка...

Мама ждёт. Обеденное время...

Коридор многоколенчат, живут в квартире три семьи, вернее — две, и тихая, одинокая алкоголичка Машка, работающая на бумажной фабрике, дарит порой мальчишкам то карандаши, то ещё какую-то мелочь...

Телефон на тумбочке проклеен лентой.

Кухня огромна, колонка висит, белея, и чёрная пасть её со вспыхивающей синеватой короной огня, пугала мальчишку, когда был совсем маленьким.

— Как погуляли? — мама как раз несёт из кухни супницу, папа открывает ей дверь.

— Хорошо, по-моему? Правда, сынок?

— Правда, па...

— Мойте руки...

Они моют их: в ванной, вбок продолжающей кухню, они моют их — вполне счастливые в выходной, предчувствуя вкусный мамин обед...

В первой комнате сидят за массивным столом, покрытым скатертью, всё чинно, и двор, живущий за окнами, словно плещется плазмой солнца и детской игры.

Огромный буфет смотрит в реальность насупленно. Он огромен, его венчает

своеобразный фронтон, и не перечесть всех завитушек и украшений, плетущихся по поверхности буфета. Он принадлежал некогда Матовой — Александре Константиновне, солистке Большого театра, Заслуженной артистке... Как пианино — чёрное и старинное, расположенное у соседней стены.

...Матова в 55 году, когда мама приехала учиться из Калуги, прописала её у себя: певица к тому времени потеряла голос, но молодёжь ходила к ней, кое-что показать она могла, и среди этой молодёжи был отец мальчишки, увлечённо поедающего борщ.

Какая она была, Матова? Напрочь лишённая тщеславья, не позаботившаяся о посмертной славе... Мальчишка не знает об этом...

Мама рассказывала уже взрослому своему сыну:

— Был вечер, собрались гости, Александра Константиновна лежала в соседней комнате: тяжело было ходить. Обычный милый вечер. Гости разошлись, я перемыла посуду, вернулась в комнаты, и... знаешь — будто нечто тяжёлое, свинцовое, давящее пронеслось, ворвавшись из другой комнаты, где лежала тётя Саша... Я не сразу решила зайти. Она лежала мёртвая.

Мальчишку назвали в честь певицы...

Рассыпаются выходные, разлетаются, отсверкав...

В первую школу Сашу возили на троллейбусе: мал один ездить, а располагалась она в своеобразной низине, меж теснящимися домами, в колоритнейших московских дворах; его возила мама, вела, когда был первоклассником, за руку...

...будет и сейчас ведёт.

Его возили и встречали: мама, работавшая в ТПП СССР, могла отпрашиваться или выходить на полдня (отец — физик, возвращался из НИИ в вечернее время)...

Лёшка Сазанов — друг ещё по детсаду — подбегал:

— Пойдём гонять после уроков?

— А то!

Велосипеды, войнушка, пистолеты...

Память, убывающая с годами, расцветивается суммами полувыдуманных подробностей.

Строга ли Надежда Васильевна?

...стирается лицо первой учительницы, стираются миры уроков, нечто эхом звучит, не позволяя потерять себя окончательно в дебрях столь долго тянущейся, одномоментно пролетающей жизни.

Олег Скороходов — двоюродный брат Алёши — подходит:

— Ну, вы чего тут?

— Думаем, во что играть будем...

Дребезжат звонки. Уроки размываются: как не самое интересное...

Детей встречают: всем куда-то ехать надо... Детей встречают...

Саша сидит у пианино, стараясь одолеть мудрёную науку: рука должна как будто держать яблоко, и, отчётливо представляя его, спелое, не знает, как играть, воображая оное в горсти ладони. Всё же пробует.

Учительница ходит на дом, но успехи Саши — скромнее скромного: словно и клавиши — о! чудесные клавиши, покрытые слоновой костью, с благородной желтизной (тайное золото) — сопротивляются его игре.

Однако ноты завораживают: словно надписи на чужом, недоступном, чуть приоткрываемом языке (папа шутит: «Запомни, сынок, твоя сверхзадача — расшифровать язык этрусков»)...

Он глядит в эти ноты, видя связки сушёных грибов, великолепные формулы математики, надписи на древесной коре, сложностью превосходящие язык далёких этрусков, потом пробует играть, и — раздаётся звонок в дверь. Бежит открывать, и Алёша Сазанов, стоящий в дверях, вопросительно глядит на него:

— Ты что, забыл?

— Я музыку делаю...

— Му-зы-ку... — тянет Алёша, занимающийся спортивной гимнастикой. — А сбацать можешь чего-нибудь?

Вот он — стоит у двери, и Саша, устроившийся на чёрном, тяжёлом, вертящемся стуле, играет — как получается. Алёша слушает кисло.

— Не пойдёшь, значит?

— Может, вечером?

— Ладно, созвонимся давай...

И — не стало Алёши, но и остаться один на один с музыкой не получается...

Совсем уж собрался на двор, и — вдруг мелькнула коричневая обложка: «Легенды и мифы Древней Греции».

Кун появился недавно.

...дерзкие и требовательные, уверенные, что аура героев оправдывает что угодно, спускаются в Аид Тесей и Пейрифой: дерзкие и мощные, уверенные в силе своей, садятся на каменные углубления, чтобы остаться там надолго-надолго...

Розоватое свечение мрамора: храмы, сквозящие тотальной белизной.

Мальчик один раз был с тётей в русской церкви: насколько же поразил контраст: хотя греческих храмов и не видел, но представлял так живо...

Геркулес, спускающийся в недра Аида, влекущий на свет Цербера, бедный зверь, ослеплённый денным светом, роняющий зелёные горошины слюны...

Жуток взгляд Медузы Горгоны, шевелятся сонные змеи, но отражения Медузы в щите спасает солнечного, на сандалиях бога летящего героя.

Сколько всего! Хотелось вобрать сразу, сразу переосмыслить, будто и мир изменится, расцветёт новыми красками, сияя, великолепный...

Мама пришла — узнавал по тому, как открывается дверь.

— Что ты не гуляешь, Сашк? Ребята ждут, наверно...

— Я зачитался, ма...

Книжка съедает время. Мальчик не знает о нём ничего: сжимающемся и упругом, длинном и пролетающем мгновенно.

Он бежит на улицу... Пыльный асфальт мая сереет обыденно, но золото листвы уже насыщено летом: скоро на дачу, под Калугу, к родне. Саша выбегает во двор, но площадка пуста, и... где теперь искать своих, а? Железная гулкая лесенка дребезжит под ногами — вела в соседний двор, где стоял дом Алёши... Вот же — Сазанов на самокате пролетает...

— А ты чего без? — притормаживает.

— Забыл...

— Совсем ты со своей музыкой!

— У меня нет пока своей, Лёш...

Возвращаться? Ну его!

— Я и так тебя обгоню.

— Давай!

Сазанов мчится по двору, мелькают полосы света и тени, зелень словно слегка покачивается, плотно облепив ветви, и Саша, разгоняясь так, что в боку болит, мчится за ним, летящим...

...они упираются в голенастые ноги огромной птицы, мудро смотрящей на них с высоты... Клюв её огромен, и, кажется, любой удар разнесёт бедную Сашину голову. Но птица вовсе не угрожает: просто смотрит с высоты: и в глазах её мерцают ум, даже мудрость... лукавство.

Горазд был на выдумки, а догнал ли Алёшу? Или улетел тот на своём стремительном самокате времён — улетел в никуда?

Фонтан в центре одного из дворов белел массивно, и два медвежонка, жавшиеся к медведице в центре, казались ручными и милыми.

Нет линейного движенья жизни, организованной фрагментарной мозаикой: это не воспоминания, хотя и они, это жизнь сама, лепящаяся из чёрточек, красок, мазков неизвестного живописца, всей суммы, даже суммы сумм, которую познаёшь всю своей явью..

Взаимоперетекающие процессы, бесконечная алхимическая возгонка, и то, что алхимики объясняли сложное через ещё более сложное, — логично, учитывая квантовую перенасыщенность жизни.

На Птичку — великолепный Птичий рынок — ехать интересно, начиная от предвкушения: ибо предвкушение счастья вполне способно тягаться с накатами оного.

Метро гудит, заливая пёстрой плазмой жизни сознание; оно гудит, неуёмное, постоянное, и можно гадать: кому вот та массивная тётка везёт свёрток или о чём просит, дёргая за руку, малыш маму... Можно гадать.

Потом, сияя аквариумами, расступаются, словно ожидая нового мальчишку, ряды Птичьего рынка.

Интересуют только рыбки, аквариум готов, необходимо живое и пёстрое наполнение. Глуповато глядят на действительность сквозь выпуклую плёнку глаз телескопы. Треугольники скалярий проплывают косо. Оранжевые меченосцы никому не угрожают мечами своих хвостов.

— Два телескопчика, пожалуйста, — говорит мама, и плотный, с корытообразным лицом торговец, вылавливает их, гоня сачком, пересаживает в банку. — Ну, сказали, ещё двух скалярий можно?

- Да, мам. А сомика?
- Не тесно им будет?
- Но сомик же необходим!

Мама улыбается. Солнце тоже.

Покупают рыбок, потом ещё траву, корм...

Мальчишка держит банку так, будто это чаша Грааля, о которой он не читал ещё, но всё впереди, впереди...

Они едут домой.

Па, когда ты вернёшься сегодня, хочется же показать!

Аквариум установлен в простенки между двумя окнами второй комнаты; а над кроватью мальчишки висит пёстрая карта мира, и, засыпая, он думает: не осыпались бы осенние листья стран.

Пока они держатся, мальчик — на древе детства, опадание будет происходить постепенно, потом...

– Надежда Васильевна! Смотрите, какой листок! — Ащеульникова (завораживала звукопись фамилии) бежит к учительнице, гордясь — и собой, и листком...

В сквере, напротив кинотеатра «Россия» собирают классом листву, будут делать гербарии, и она шуршит, огненноцветная, под ногами, рождая сонмы маленьких ассоциаций... Каждый листок — как своеобразная карта: и не счесть прожилок и ответвлений, точек и крапинок, будто жар-птицы разорняли перья свои...

- Смотри, Лёш, что за страна?
- Аквалантия, — смеётся Сазанов...

Собираются листья.

Разнообразные, каждый со своим лицом дома строго наблюдают за детворой.

Время не желает двигаться линейно: в разрывах возникают новые куплеты жизни.

Нравилось спускаться по грохочущей железной лесенке, попадая из двора в другой, покидая свой, но ненадолго, нет-нет...

Бежал, зажав пяточок в ладони: круглый медный пяточок, от которого плоть руки пахла своеобразно; бежал в булочную, чей скудный ассортимент воспринимался нормой, покупал песочную полоску с вареньем, чтобы съесть, торопясь получить сласть на ходу, во время краткого возвращения, минуя колоритную овощную лавку, где бочка, наполненная солёными огурцами, обросла мхом, а картофель ссыпали в специальный жёлоб: чтобы выкатился, прогрохотав, в сумку...

Папа вернулся — мальчик тянул скорее: показать аквариум... Папа шёл, улыбаясь, едва успев раздеться, и смотрел не столько на рыб, сколько... на почти овеществлённые восторги сына своего, рассказывавшего о телескопах и скаляриях, о щедром неистовстве Птичьего рынка, одарившего такой красотой.

Машка, покачиваясь, идёт по коридору — на кухню, и мальчишка, выскочивший зачем-то, натывается на неё.

- Ой, Сашк... Сейчас я тебе карандашей подарю.

Он стоит, ждёт... Она, вернувшись в комнату, выходит, протягивает ему несколько цветных. Прекрасных: ведь можно будет изображать радужных птиц и зверей... Он благодарит, возвращается к себе, достаёт бумагу...

Оживают, расцветая, жители фантастического зоопарка: из арфы слона прорастает древо дельфина... Нет, больно странно! — скомканный лист летит под стол.

На другом разрастается жираф, но ужасно хочется совместить его с кем-то, и... В окошко стучит Алёша:

- Выходи!

Саша, оставив бумагу, выходит...

Дворы, спутанные праздничными гирляндами детства.

...собирались в Анапу, где будут жить в частном секторе, где счастье, захлёстывая, гарантированно продлится месяц... Собирались, проверяли чемоданы, что-то перекладывали, вещи шевелились пластинами...

Вечерело. Ждали такси. Мальчик писал на листе бумаги: «Прощай, Москва, на один месяц, вернусь!» — и твёрдо знал, что сдержит обещание...

Грузились в такси, подъехавшее к подъезду, и машина гладко и бодро ехала по вечернему городу, ещё не скомпрометированному сегодняшним движением.

Мартемьяновы были уже на вокзале; дядя Валя — один из тех, кто ходил учиться пению к Матовой, — провожал своих: тётю Таню, Севку, Светку. И, пока размещались в купе, пока выгружали необходимое, всё пропитано было таинственным предчувствием чего-то важного, почти сакрального, но ни Саша, ни Севка, стоящие у окна,

глядящие на вокзал, не ведали значения этого слова.

Потом — плавно начиналось движение. Мальчишки занимали верхние полки; и сон прерывался порой — краткими остановками, когда фонари и огни засеивали зёрна света в купе...

Страна мелькала за окнами: страна, казавшаяся вечной: ведь пионеру положено верить?

Страна мелькала городами, лесами, мостами, широкими разливами полей, уходящих в небесные пласты, а потом начиналась Анапа...

Она казалась вся состоящей из частных домиков: с цветниками, огородами, палисадниками, беседками.

Низкие тихие улицы, тутовые деревья.

Утренний завтрак в беседке: консервы и колбаса, яичница и хлеб, но это неважно, ибо самое важное впереди...

Опиши море, мальчик...

Мы, дети, мчимся, бежим к нему, огромному: бесконечная чаша сияний, и улыбается оно нам — даже маленькими крабами, ходящими в мыльной пене; мы кидаемся в сине-зелёное, плавно колышущееся пространство, мы упиваемся нырянием, привкусом йода, солью...

По утрам кентавры приходят на берег: но Кун оставлен в Москве: впрочем, и не особенно нужен уже: ведь несёшь его прекрасные дебри в сознаны.

— Давай замки строить!

— Давай!

С Севкой дружили. Набрав в руку влажного песка, выпускали его, и росли они, зыбкие, отекающие, разные замки, росли, казались красивыми...

К двенадцати солнце обретало предельную силу, и шли обедать — в столовую.

Подносы надо было двигать к кассе, наполняя их тарелками и стаканами, и двигали, и молочный суп в тарелке мерцал опалово.

...высший пилотаж — плыть и нырять в маске: дно раскрывается по-другому, словно повторяя движение волн, песок идёт накатами.

Краб под камнем, державшим буёк, тянет предупреждающе клешни: не трогай...

Ловили кожистых рыб-игл и на берегу, набрав в маску воды, смотрели на них, чтобы выпустить потом...

Вечерами было кино: особенно чудесен кинотеатр без крыши, под открытым небом; и смутные оттенки приключений клубятся в мозгу... индейцы...ковбои... Хотелось в чужой мир? Конечно: и особенно хотелось быть таким, как Гойко Митич, чьё тело перекипало мускулами.

Ещё вечерами ходили с папой вдоль улиц, под деревьями, играли в города, и чудесно вспыхивали они — таинственные, словно сияющие своими названиями.

Анапа кончается. Мальчишка возвращается домой, не обманув Москву, через месяц. Он вообще старался не обманывать.

...а родители уже не вернуться: ни в Москву, никуда: в привычный на земле обиход...

— Саш, пойдём к Алёше Черёмухину...

— Пойдём.

Ещё один Алёша из детского сада: но в школы разные пошли.

Алёша жил в композиторском доме, в отдельной квартире, и коридор уже казался бесконечно-таинственным, уходящим в даль больших комнат.

Сидели в одной — рисовали. Алёша чудесно рисовал машины: точно и остро, не спеша, они должны были сейчас сорваться с листа, понестись, гоночные, в основном.

Саша спешил. Он не умел так тщательно, с тонкой отделкой.

О чём говорили мамы?

Фантазия здесь сослужит плохую службу: незачем прибегать к ней...

Много было реальности, много ячеек заполняется чешуйками мозаики: добрая тётя Галя, у которой иногда оставляли мальчишку, пекла дивные куличи: в форме пасхальных агнцев, с изюминками глаз. Она пекла их на Пасху, и было совершенно непонятно, что это такое, но куличи были вкусны, как интересны старые книги, где плыли корабли с парусами, наполненными ветром, и щекастые младенцы летели вверху.

Фигус вздымался в коридоре.

Семья у тёти Галя не было, она жила с мамой — бабой Лидой; квартира была старинная, подоконник растрескался, но рыжие муравьи представлялись интересными, как и всё вообще. Всё вообще...

На новой уже квартире жили, куда переехали, когда мальчику исполнилось десять

лет; что-то отмечали взрослые: шумно и пьяно, и на балконе, куда выходили курить, а Сашка вертелся между ними, дядя Слава спросил у мамы:

- Ляль, как Галю похоронили?
- Мама, тётя Галя умерла?
- Да, сынок...

Мир застлало слёзной пеленою.

Мир потёк неправильностью свершённого...

Первое ощущение собственной смерти: после трёх дней колошматившего жара багрово-липкая муть застит мозги: где же буду я, когда меня не будет?

И жутко, жутко, безвыходно, безысходно...

Квантовая мера мира, сильно вмещённая в более чем полувековые мозги. Странно и тяжело. А было счастливо и легко.

И не представлял мальчик Саша, что будет говорить так:

— Вот первородный бульон, из которого пошла жизнь, что можно считать доказанным. Что напоминает сие? Лабораторию... кого-то огромного, кто сам не знает результата, заворачивая сложнейший эксперимент. При чём тут любовь? Прелесть якобы высоких понятий в том, что можно говорить о них всё что угодно: ни проверить ничего, ни доказать...

Кому он будет говорить это, полуседой, истрёпанный жизнью, бесконечной чередой утрат?

Что выиграл мальчик от собственного взросления?

Чаша слёз в груди, заменяющая сердце...

А пока всё — на старой квартире, в огромной коммуналке, — легко и славно...

Саша ходил в бассейн, располагавшийся в огромном дворце пионеров: именно дворец — пышный, высокий...

Сквер, предвзвешивший его, был пронзительно красив.

Ходил в бассейн, где синевой сквозила вода, и блики, как солнечные зайчики, перекипали на бортах, и был комический случай, когда принимали...

Спросили: «Умеешь ли плавать?» — ответил гордо, уже бывавший на море не раз: «Да». Сказали: «Покажи»... Прыгнул и поплыл, вода отдавала хлоркой, но было приятно рассекать её, и когда у бортика тренер опустил в воду шест, уцепился за него, и полез, и выкарабкался... Все смеялись. Шест был опущен, чтобы помочь с поворотом.

Приняли в секцию, стал ходить, тренироваться, увлекала... вода...

Мама забирала, как правило, папа — реже, а раз — не пришли.

Ждал напрасно, и, одевшись, побежал — близко, в общем, было.

Но — улицы казались пустынными: такие необычно недружественные, с большими домами, словно готовые поглотить.

Бежал, слышал стук своих каблучков, бежал, подгоняя себя, и, юркнув в подъезд, ощутил освобождение...

Три года бассейн не сделали пловцом, как студия рисования в том же дворце — не превратила в художника.

Но кипенно-белый лист, ложившийся на соответствующую подставку, завораживал и в сеть линий словно ловил собственные фантазии.

...девочку звали Наташа Равкинович, она была рыжая и жила в доме — через двор...

Каменные их миры интересно раскрывались разнообразной стариной, и попытка вспомнить, был ли когда-нибудь у Наташи в гостях, не кончается ничем... Но — гуляли вместе с мамами по скверу, предвзвешившему Дворец пионеров, гуляли, и она, набрав пригоршни разноцветной листвы, кидала в тебя и кричала почему-то:

— Я твоя весна, я к тебе пришла!

Хотя осень царствовала, крыла охрой и золотом предложенное пространство, играла последним теплом... Арфа лучей...

Как сложилась жизнь этой девочки? Попытки узнать равноценны попыткам вернуться туда: на Каляевскую улицу. А кто такой Каляев, Саша тогда не знал...

Будешь ездить к старому дому, ходить вокруг него, мучительно вглядываться в четыре окна, из которых первые десять лет смотрел на мир, вглядываться, сидя на совершенно другой детской площадке: пёстрой, шикарной...

К дому прикасаться, как Антей к земле: будто сил просить...

...в церкви был Союзмультфильм, и мультики детства оживали пёстрою чередой.

В церкви теперь церковь. Как скучно.

В Политехническом музее была выставка миниатюр: даже мини-миниатюр; когда заходили, видны были одни микроскопы...

Подсаживали своих малышей, подсаживали взрослые, сами заворожённо глядящие в глазки, а там — раскрывалось: Чарли Чаплин в ушке иголки, роза в человеческом волосе, шахматы на острие иглы...

Какие миры! Неужели существуют ещё меньшие?

Пробовал представить: атом, электрон, и в каждом — созвездия, своя жизнь, свои мудрецы и храмы, свои Атлантиды и Византии...

Мир бесконечен, мальчик, не бойся!

Помнишь — в том же Политехническом музее рассматривал макет лаборатории Ломоносова, рассматривал так, будто представлял себя уменьшенным, участвующим в таинственных возгонках, которые сулят...

Лес алхимии закрыт, да и Ломоносов не занимался ею.

Но с алхимией жизни сталкиваемся постоянно.

— Подсекай!

Ёрш, отливая серебристо и словно распушив шипастый гребень, трепыхнулся в воздухе, и двоюродный брат перехватил его, воскликнув:

— Коржавый!

Сорванный с крючка, плюхнулся в ведро, куда мальчишки отправляли рыбью мелочь — для наживки...

Двоюродные братья — и младший, московский, лето проводящий на даче под Калугой, с радостью ездит на рыбалку — на Оку...

Лес двумя массивными, таинственными крылами раскрывается за спиной, поле кукурузы остаётся позади, и вот — берег: крутой спуск, где вырубается лесенка: маленькой лопаткой, а под самой крышей берега чернеют страшными глазами ласточкины гнёзда.

Череп Аргуса там спрятан?

Думает книжный московский брат, для которого поездка на рыбалку вдвойне занята: слишком отличается от обыденной его жизни...

Дядя Гена, где ты теперь? Помнишь, как был моим крёстным отцом в калужской церкви: одной из? Как ехали утром с дачи, как вибрировало (казалось мне) огромное пустое тело собора, и вдруг — в кадр реальности плавно вплыл твой друг, отец Михаил — огромный, чреватый, будто из Лескова изъятый.

...раскалённое поле моего нефизического нутра, смутный страх многих ощущений, непонимание, как можно прийти к силе, запустившей мириады галактик: и — всё равно решил креститься под тридцать...

— Бать! — кричит от реки Димка, мой старший двоюродный брат. — Мы ведро полное наловили, принимай...

Гена ловил серьёзно: четырёхколенные удочки протягивались тонко чуть не до середины реки, играя неподвижностью, и вдруг — звяк колокольца, и Гена мчит вниз, по вырубленной лесенке, спешит: необходимо успеть...

Блюдо леща — и рыба будет сопротивляться, и Димка, возможно, подоспеет с подсажником...

У него всё хорошо, у Димки, Гена, он устроен в жизни, ты, довольно рано умерший, знаешь...

У него всё хорошо, а я...

В воспоминаниях — при определённых жизненных условиях — жить уютнее: вот на стареньком «Москвиче» — стареньком, исправно работающем, едем вчетвером через лес: Таня, супруга твоя, тётушка моя, — всегда рядом с тобою, и мы с Димкой о чём-то болтаем на заднем сиденье...

Машина едет по дорожке: она логична, ибо дальше откроется деревня: черноватая, но живая ещё, живая, всё же Союз... который ошибочно кажется незыблемым...

Потом — лесной спуск, крутоватый, и — разъезженная дорога через поля.

Всё. Остановка.

Достаётся палатка, складные стулья и стол, коробки с едой, скарбом, рыболовными принадлежностями.

И — начинается мистерия, что длится будет дня три; зажигается она, вспыхивает роскошью костра, особенно яркого вечером-ночью; а река будет бездвижно течь, чернея нефтью, и роскошь её равнодушного движения напомним...

Да нет — ничего она не напомним восьмилетнему ребёнку.

Сейчас напоминает нечто — но что? Не понять...

Калужские ракурсы яви: любимая ба, любимые дядя Гена и тётя Таня: она — мамина младшая сестра: всегда весёлая, несмотря на болезни — дитя войны...

Мамин старший брат умер рано, чуть до сорока, и о нём нет воспоминаний: никаких, ноль, только догадки.

Так же худо помнится и старый калужский дом: бревенчатый, многокомнатный, с запущенным садом, и только Фред — сеттер дяди Юры, маминогo старшего брата, — вдруг всплывает в кадр реальности.

Вот Димка говорит: «Послушай, как урчит!» Наклонялся, толкал его ухом, и тот вдруг, играя, слегка лизнул... Урчание провалилось.

...в грозу, в бабушкиной комнате испуганный ребёнок приподнимается на кровати...

— Не бойся, — говорит бабушка. — Иди ко мне.

Молния раздирает пространство, и словно в магниевой вспышке проявляются на миг пугающие иконы.

Потом калужане — дядя, тётя, братья — переехали в четырёхкомнатную квартиру: брежневский формат жизни был в силе.

Но лучше всего — их дача, за Окой, обычная шестисоточная нарезка земли, в случае калужан — двойной участок, второй принадлежит деду: отцу Геннадия, но... всё вместе текло, варилось...

В странном костюме, в маске, с дымовухой Гена приступал в сборке мёда... Руки искусаны были, распухали.

Медогонка с погнутыми боками вызывала пышный интерес: рамы вставляли внутрь, ручку вертели, наклоняли бочку, и в подставленную банку лентою текла драгоценная, такая вкусная струя.

Пчёлы — эти летающие цвета — обиженно жужжали.

Папа не любил калужских родственников, считал их мещанистами очень: они и были такими — драгоценные и любимые...

Бабушка наклоняется над тобой, первый день каникул сегодня, наклоняется, подоткнув одеяло, спрашивает: «Удобно ли тебе, внучек?»

Ах, как мне было удобно тогда, ба!

Как неудобно в жизни!

— Ты не был на Пятницком? — спрашивает Лёшка, старший двоюродный, кавторанг-подводник, тогда живший в Мурманске.

— Не-а...

— Пойдём?

— Конечно...

Идёте, пересекая Калугу, покупаете водку, пластиковые стаканчики, закуску...

Там лежит дядя Юра: могила довольно запущена, пламенеют жёлтые цветы. Тут на Пятницком лежит и Матова...

Оно тесное, старое, будто произвольное соединение оград свидетельствует о людской всеобщности...

Всё хорошо — так кажется.

Логично второй к Юре легла бабушка; смерть Геннадия — вызывающе ранняя — также переместила его в траурные пределы.

Тётя Таня не стала жить без Гены: она — рядом с бабушкой и Юрой, и как давно это было, и смерть мамы, разорвавшая сознание внезапно, хотя и была матушка в возрасте, случившаяся недавно, стала апофеозом... Чего? Не ответишь, варящийся в пустоте одиночества, хотя по жизни не одинок.

Да, папа считал калужских родственников слишком мещанистами, не любил их.

Мы идём с ним в букинистический, где под толстым стеклом прилавков, будто глубоководные рыбы, мерцают ветхие старинные книжечки...

Отец встретится, посетив магазин и ничего не купив, с таинственным дядькой: который извлечёт из портфеля желаемое, и отец, заплатив изрядно, будет рассказывать о книжном дефиците в стране...

Книги, солнечно озарив реальность, привели мальчика к пубертатному кризу: слишком много и рьяно читал.

— Па, Достоевский лабиринтами, так туго закрученными, выводил к свету: всегда вслушайся... Раскольников настолько чист, что убийство привиделось ему... А речь на могиле Илюшеньки? Это ж такая патетика всеединства людского, что дух захватывает.

— Что ты, Саша. Ничего подобного не ощущал. У него все бедные, несчастные, и лабиринты его — живое страдание...

— Вероятно, так нужно, па, иначе не выйти к свету.

Книги не должны заслонять реальность — понял, мальчик?

Понял — да поздно...

...Ибсен, похожий на летучую мышь, взирает с обложки книги из серии ЖВИ на тебя, бессмысленно сидящего за монитором... ради пригоршни строк-воспоминаний. Сладок ли мёд их?

Болгарские елочные игрушки доставали загодя: до покупки ёлки...

Была дальняя родня в Болгарии, приезжали они иногда, привозили... разное: эти игрушки, в том числе. Они были тонкие, страшно брать, и брал осторожненько, не побить бы...

Сияющие многоцветные шары, обсыпанные сверкающими блёстками.

Фигурки... конкретика стёрлась: игрушек нет давно, всё же побились.

А потом — покупали ёлку: торжественно, священнодействуя, и везли её на санках, и пружинящие, черноватые лапы распространяли круговые ароматы...

Везли, вносили, устанавливали...

— Осторожно, Саша, вот эту веточку отогнём.

Кололись не больно.

Отгибал, ища куда бы лучше пристроить богатыря на прищепке — нашего уже, советского производства.

Ёлка расцветала.

Ночью казалось — на ней, прячась в игрушках, живут гномы, нужно дожидаться только, не засыпать... И всё равно засыпал.

И листва стран не осыпалась с карты.

Когда начала осыпаться она? Может быть — в связи с переездом.

Все хотели жить в отдельных квартирах, и мама получила — в другом районе, в новом кирпичном доме, от ТПП.

Долго собирались, долго, сложно; огромные грузчики, ражие и, вероятно, пьяные, выносили пианино.

Мебель переезжала не вся: но книжный шкаф, буфет и зеркало, принадлежавшие Матовой, были обязательными участниками продолжающегося житья.

Дом — рядом с ВДНХ, где и проживёшь всю жизнь, медленно старея, мальчик.

А из того, на Каляевской, ездили часто на выставку: больно нравилась — с вавилонскими павильонами, с пространством, будто прямо уходящим в небеса.

Теперь выставка стала совсем близкой.

Ничего — скоро опять оживут сквозяще-великолепные водные миры фонтанов.

Переезжали долго, болезненно: отец многие книги перевозил сам, частями, опасаясь чего-то...

Переезжали, вживались, и мысль о новой школе щемила сердце.

Если б не переехали, жизнь сложилась бы лучше.

Уверен? — немо спрашивает ногастая птица, в которую упираешься время от времени, и не клевала пока...

Уверен теперь, не понимая, зачем вырос, сожалея об этом.

Страны осыпались.

Страны, бывшие листьями, осыпались, играя с мальчиком совершенно всерьёз.

Переезд был завершён, пеклись по этому поводу торты: и мама, и бабушка, и тётя Таня были ТАКИМИ кулинарками; переезд был завершён, и мальчишки — Димка и Сашка — устроившись на югославской кровати и глядя в невинный советский телевизор, поедали Наполеон и Мишку, аж постанывая от удовольствия...

Потом калужане уехали.

Нет соседей, нет огромной кухни, шестой этаж — заменой того первого.

И — новая школа: как обнажённая бездна.

...в четвёртый класс получилось, как в первый, и целлофан шуршал на гладиолусах так же, но лица все незнакомы были — абсолютно, совершенно.

(Забегаю вперёд — ни с Алёшей Сазановым, ни с Олегом Скороходовым, ни с кем другим из персонажей первой пьесы не встретишься больше никогда).

Сложно прирастать к новому классу, привыкать к новым учителям, искать алгоритмы; и мама уехала в командировку в Польшу, и бабушка, твоя любимая, Саша, совсем не ладит с отцом.

Бродил, плюнув на домашние задания, осенним сквером, глядел на гнущуюся под ветром траву, на медленно меняющие цвет листья, и думал, всё думал о странах, которые будут облетать постепенно, обнажая... что?

Так и не понял.

Срослось как-то — в новой школе.

Появился Митька: с которым Саша продружит все классы, насквозь; а тогда — выдумывали игру, где были странные звери-персонажи: курдли, что ли? Кудды? Рисовали их, чертили карту страны, выдумывали географические названия. Псевдогеографические...

Пунктир жизни наполняется всё большими разрывами...

...папа, папа мой, умерший так рано, был бы ты рад внуку?

Видишь ли — из своего неведомого далека?

Вот веду я, выросший внешне, старый почти Саша, поздний отец, своего мальчишку с каратэ: он занимается им в той же школе, куда ходит в третий класс, и в коридоре дома мальчишка останавливается у коробки, куда валят рекламный мусор и ненужные газеты, и спрашивает:

— Папа, а сколько лет эта коробка стоит?

— Не знаю, Андрюш! — нажимаю кнопку лифта, вызывая.

— Десять лет?

— Вряд ли...

— Пять?

— Не знаю, сынок. Это разве интересно.

— Па, — уже едем в лифте, — а если за коробкой последить?

— Ну что это за жизнь, Андрюш, следить за коробкой...

— А она потом с тобой разговаривать будет: по-своему, по-коробковски. Или по-коровьи...

Дома пахнет рыбой: жена готовит ужин, используя специи для создания вкусовой симфонии...

...для мальчика Саши Фихте не представлял особенной ценности, однако — я и не-я интересовали чрезвычайно...

Где здесь я?

Где здесь другая сущность с приставкой не?

Волны Гомера слоились, заворачивая звуком, опровергая Куна, сразу ставшего обветшавшим, в старенькой бахrome; Гомер громыхал, наплывая волнами на бытового и психологического Ибсена, выдвинувшего меру стойкости и твёрдости Брандта; потом Достоевский всех затмил наслоением усложнённых лабиринтов, и Кафка — с грустными чернильными глазами и птичьим носом вошёл, рассказывая переворачивавшие душу истории...

О, сколько их!

Читал томами, собраниями сочинений, сериями; зелёные Литературные памятники мешались с синими книжками Библиотеки поэта, пёстрая коллекция МСП отгеснялась изящными томиками СЛП...

Школа? Она грозила угольной чернотой и жадами двоек. Саша бродил зимой, прогуливая её, хрустел снегом, покупал булочку за три копейки, долго стоял возле будочки часовщика, заглядывая осторожно, стараясь проникнуть в тайны механизмов, похожих на всё сразу, вспоминая...

...там, в старом доме на третьем этаже, жил дядя Костя-часовщик, и маленький мальчик поднимался к нему, одолевая высокие ступени лестницы, звонил в дверь, спрашивал: «Мозя?» Дядя Костя смеялся, и пускал мальчишку «пошуровать»: порыться в ящиках с деталями. Они сверкали колесато, жалили порой пальцы и были такими замечательными...

Потом школьный Саша шёл в лесопарк, заснеженный и сонный, блистающий розоватым серебром, шёл бесцельно бродить по дорожкам, думая, что жизнь его кончилась, что школу он безнадежно прогулял...

Самоубийство не удалось.

Вотходим на подмосковной станции: мама, я, тётя Валя: медик, нашедшая хорошего психиатра среди своих друзей. Мы идём к нему.

Корочка наста блесит под фонарями: сладкая, несъедобная глазурь.

Психиатр оказался пожилым, лысым, основательным, курящим беломор, а люстра

в его комнате напоминала быстро брошенный на лампочку платок; и комната сама была — книжная берлога, бесконечный лабиринт...

Психиатру книгочею легко было найти общий язык с маленьким пациентом. Стояли, обсуждали редкое издание Северянина, говорили о хронологически подобранных книжках советских поэтов.

Сурово глядел Маяковский с портрета...

— Ищите ему среду, — сказал психиатр маме. — Иначе он погибнет.

Не погиб. Может, и лучше было б?

С поздним мальчишкой Саша, остающийся внутри, душевно, жителем детской, мистической Византии, много гулял, бегал, ловил его с горок, водил по всем площадкам, часы мелькали, уходя в безвозвратность, они уходили навсегда, навсегда...

Без конца читал ему на ночь, потом пел — как когда-то пел отец.

Потом уже учил читать.

Сосед — тушистый, вальяжный Лёнька, покуривая на лестничной клетке, сказал вышедшему — тоже покурить — Саше:

— Поздравляю. Сейчас быстро полетит. Я думал долго...

У него была взрослая дочь...

Мама сказала (миг — и нет нескольких лет): «Какие-то странные цветы несли в соседнюю квартиру. Надо узнать у Гальки» (мать Лёни)...

На другой день: «Саш, Лёня умер»...

Пустота, завибрировавшая за стеной, отливала страшным.

Нет, друзьями не были.

И всё равно.

Он оказался прав — всё замелькало, запестрело, сорвалось с петель.

А ведь был каждый день: круглый, как яблоко, большой, объёмный.

Где они?

В тебе, понятно, но ты не такой, не такой — каждый месяц, год, десятилетие...

Саша смотрит, стоя на лоджии, на дождь...

Двор любим: роскошный, тополиный московский двор, и дождь, начавшийся медленно, будто с ленцой, закипает гуще, связывая и соединяя ветви огромных, в рост девятиэтажных домов деревьев; механизмы дождя обретают тугую силу вращения, это ливень уже, грохочущий и низвергающий ветви, и бой за тело Патрокла, закипающий в недрах тополиной светописи, очевиден, как собственная жизнь.

Нет, не подходит — она как раз вовсе не очевидна: ибо между мальчиком, засыпавшим под картой, юношей, хоронящим отца, поздним отцом, гуляющим с маленьким сыночком, нет ничего общего: от кожи до мыслей.

А ливень кипит, становится лиловатым, сгущается — хотя некуда уже.

Он кипит, представляя, чередуя портреты Византии, Атлантиды, много чего ещё...

В такой же ливень въехала электричка, везущая в недрах людской массы Сашу домой: из Калуги — провёл неделю с бабушкой на даче.

Ливень был такой же: и двое, пьющих белое сухое из горлышка, воспринимались колоритно: примитивный, с плоским и смазанным лицом мужик: из тех, кто произносят это словечко с гордостью, и старик, что-то блеющий невнятно; электричка буквально ворвалась в ливень, убежав от него под покрытие вокзала, а дома ждал отец. Мама отдыхала в санатории в Прибалтике.

Поговорили, поужинали, всё было тихо. Легли...

Саша, чувствуя непонятное беспокойство, встал, заглянул в комнату, где спал отец: тот маялся, стоял, растирал грудь...

— Сынок, вызови машину...

— Плохо, па?

— Сердце болит...

У него была стенокардия.

Вызвал. Первая бригада, произведя определённые манипуляции, убыла, вынеся вердикт: для больного стенокардией кардиограмма нормальная.

Вторая бригада констатировала инфаркт, и отца увезли в ночь...

Утром, после пробежки, Саша пошёл искать больницу, думая узнать, что и как, но там сообщили: в реанимации. Дали телефон врача, но звонить было рановато...

Сквер напротив поразил граем ворон. Саша сел на скамейку и зарыдал, втянутый в бесконечную ленту предчувствия.

О том, что папа умер, позвонили через несколько часов.

...безграмотная фраза? Исправить?

Горем застигнутый человек не слишком заботится о расстановке слов.

Всем звонил, выяснял, как связаться с мамой — речь о 1987 году, такой связи, как сейчас, не было.

Завертелось колесо предпохоронной суеты.

Новые и новые люди звонили; калужская тётушка, бывшая по делам в Москве, пришла ночевать...

Запомнился похоронный агент: оранжевый галстук сильно контрастировал со строгостью костюма, и поразила огромная простыня услуг, где расписано всё было до унизительно звучащих деталей, вроде — снятие гроба с полки.

...дворик морга, и августовская листва уже виньетки — у стен.

Мы с мамой над гробом, и отец не дышит, не дышит — совсем; ведь это первые похороны в моей жизни.

Довольно много людей.

Мама плачет.

В крематории будут речи: вдохновенно дядя Валя Мартемьянов расскажет о пении отца, о бархатном его баритоне, о коронной Торне...

Где ты, папа?

Вся взрослая жизнь прошла без тебя.

Мы остались с мамой вдвоём, я относительно легко пережил твою смерть: вероятно, сказывались девятнадцать лет... Да и мама была рядом.

Теперь, когда её нет, я словно на тоненьком волоске повис над бездной.

...в подростковые годы в реальность вошёл «Иллюзион» — один из немногих кинотеатров, где можно было посмотреть западные фильмы. Папа переплачивал за билеты... Потом Саша, немножко разобравшись в спекулятивном тогдашнем механизме, сам будет покупать билеты...

Таинственная яма зала, лекция перед фильмом — иногда весьма питательная; и — действие, завораживающее порой.

Входи в эти улицы, которые не увидишь в реальности, растворяйся в чужом антураже, если не хватает своего.

А выходил, бывало, с мокрым от слёз лицом.

Когда появилось ощущение: мол, не укорениться во взрослой жизни?

...совсем маленький, отведённый в детский сад, вдруг обманутый: сказала мама — просто посмотрим; совсем маленький, ползущий с рёвом по пёстрому ковру, преодолевающий часток кол взрослых ног...

Бабушка сказала тогда: «Пусть ещё год дома посидит. Я у вас жить буду»...

Потом родители дружили с Ниной Анатольевной: воспитательницей; дружили долго, мама общалась с нею до последних лет: когда та, одинокая, перестала уже отвечать на телефонные звонки.

Вдруг вспомнишь её, вечно путающий «я» и «не-я», входящую в квартиру, где зеркало занавешено, где сейчас будут поминки по отцу, которого никогда больше не будет.

Резко бьёт в тишине в сознание: никогда! Резко, страшно...

Никогда не услышать — сынок: в свой адрес от мамы, никогда не поспорить с папой о Достоевском, никогда не искупать годовалого своего, белого, как зефиринка, сыночка...

...девочка Маша из соседнего дома бежала, раскинув руки: «Гражданин Андрюша!»

Мальчишка, ещё плохо говоривший, Маша старше на пять лет, мчался к ней...

Снежинки особенно ярко мерцали, попадая в световую сферу влияния фонарей...

Зимние игры: вплоть до ангела: надо лечь на засыпанную снегом площадку и водить руками, пока не получится некий гибрид бабочки и ангела: как встанешь...

Обменялись телефонами с Машей, стал перезваниваться с ней, договариваться о встречах, и когда весна разоружила зиму, отправились в путешествия: по ВДНХ, где площадки были особенно оригинальными, по дворам разным...

Маша выдавала о себе информацию... Из Новосибирска... здесь живёт с мамой... отличница... занимается танцами...

Весна входила в силу, площадки расцветали детьми.

Прогулки стали ежедневными, дети совсем сроднились, и когда Маша сообщила, что в начале лета уедет, малыш приуныл. Да и пожилому Саше стало скучновато...

Летом гуляли вдвоём: мальчишка ещё не дружил с ровесниками, ждал Машу. Были на даче они — мальчишка и жена Саши, а Саша гулял с мамой: как в детстве почти.

Голосок раздался:

— Здравствуйте!

Тихий, тонкий...

Саша, о чём-то заболтавшийся с мамой, глянул вниз: Маша!

— Ой, когда вернулась? Мы тебя так ждём!

Она странной была, точно опалённой чем-то...

— У меня мама умерла...

— Машенька! — воскликнула мама. — Пойдём к нам, накормим тебя, мультики посмотришь.

Маша пошла.

Саша писал жене, слал смс...

Жена — всегда активная — быстро выяснила: в Москве Маша с отцом, оформляющим документы, забирающим её в Новосибирск, мама погибла под мотоциклом: возвращалась с корпоративной вечеринки, выпила, вероятно, чуть, решила срезать угол...

На другой день приехали — жена с сыном: с Машей встречали их у метро. Последние дни не расставались.

...за день до отъезда Маши гуляли во дворе с фонтаном, в центре которого уютно белели медвежата, и пожилая тётка с пегой, старой собакой залюбовалась: «Какие милые ребятишки!» Маша стала играть с собакой.

После её, Машиного, окончательного отъезда пошли в тот же двор, встретили ту же... женщину; собака шла за ней.

— Где же ваша сестрёнка? — спросила дама. — Дома осталась?

— Она не сестрёнка, подружка, — ответил Саша грустно и не стал уточнять.

Сложность плетения жизненных орнаментов слишком сложна.

...бурлит квантовая пена: все мы уходим в неё, свершая квантовый переход, меняя частотность.

Эзотерик, к которому обратился Саша, чей внутренний состав после ухода мамы завешен безнадёжностью, сказал про тот свет: «Живём, конечно. Просто частотность меняется».

Подвал был достаточно уютен, наполнен разными символами, карты таро соседствовали с менорой, и сам эзотерик вызывал доверие: плотный, с восточной бородкой... И денег толком не брал: «Оставьте, сколько сможете»...

Но поле разговора... не верилось, что зацветёт цветами успеха.

Пусть...

...маленький мальчик убежит из-за частокола взрослых ног в детском саду: посколькнет рядом мама...

Мальчишка, выходящий из школы, уверенно смотрит на отца: почти старого уже Сашу...

...старая, будто залитая кислотой времён фотография: трёхлетний мальчишка на трёхколёсном же велосипеде: он только что вывел его из большого дома в маленький дворик, и тут... был снят отцом...

Маргарита Григорьевна — чудесная англичанка, эрудитка, мыслившая столь нестандартно, задалась целью составить список книг, которые необходимо прочитать: и обратилась к Саше, срывавшему, бывало, уроки разговорами о книгах, с тем чтобы помог.

Энергично вычеркнул Джойса — какой «Улисс» в Советском Союзе? Его переводят только, но мало кто знает об этом.

Саша дополнял список, что-то убирал, обращался к отцу, корпел — как не корпел над английским.

Листы были развешены по стенам класса, ребята не заглядывали в них: испещрённые классическими именами и названиями листки.

...везёшь синюю коляску с мальчишкой своим спящим по бульвару: поздний отец, столь сложные чувства испытывающий, везёшь, перебирая в сознании кадры жизни и ленты слов, и Маргарита идёт навстречу — из школы к метро: она раскидывает руки, улыбается, произносит:

— Ещё и сын! Поздравляю...

Улыбаешься в ответ... Плетутся нити разговора.

...иногда встречался с ней, с Маргаритой, после школы — с единственной учительницей встречался; от неё же узнавал скудную информацию о других учителях: Земцов, колоритный словесник, умер вскоре после распада Союза: логично — не смог выдержать такого потрясения...

...твой мальчик в школе, Саша.

Помнишь, как нумизматическая страсть охватила класс, перекинулась на другой — все собирали монеты, иностранную мелочь, охали, заворожённо глядели на кругляш... какого-нибудь Парагвая?

Потом одному из мальчишек родители, ездившие за границу, привезли запечатанный годовой набор монет Сан-Марино, и он, не выдержав, распатронил его, стал меняться...

Привлекали 500 лир: с птичками, исполненные в серебре.

Саше помогал собирать отец: ходили в клуб нумизматов, в СССР собиравшийся раз в неделю, и сначала мальчишка ждал в подворотне: из неё шёл спуск в подвал; а потом, когда клуб переехал, расположившись в бывшей церкви, отец платил трёшник, и Саша был единственным ребёнком, бродившим заворожённо среди нумизматических сокровищ...

Саше помогал отец — у него было больше всех стран, и он, закрутив сложную интригу, познакомился со старшеклассником, у которого оказалась серебряная пятисотка, и выменял её, отдав двенадцать африк и америк...

Нумизматика гипнотизирует. Монеты — каналы связи с историей, географией, культурой...

Твой мальчик в школе, Саша...

Идёте с Алексеем, старшим двоюродным по новогодней Калуге, идёте в твой период, когда кажется нормальным всё: мама ждёт дома, в Москве, жена в калужской квартире, а мальчишки нет ещё, но будет же, будет...

Воздух, прокалённый морозом, блестит и переливается мириадами таинственных соцветий; чернота прозрачна, и старые дома, возникающие в перспективе, таинственны...

Мимо девятой школы, где учился Алексей: красные стены подбиты инеем...

— Куда мы? К Слите?

Прекрасный собеседник, но втроём не получается серьёзный разговор, шуточный... если только.

— Давай к нему.

— Звонил?

— Зачем? Он точно дома...

Повороты, переулки, людей мало... Заходите в кафешку, принимаете у стойки по пятьдесят коньяку; потом — магазин...

Крутой спуск, уводящий к реке; Слита живёт в деревянном частном доме; на втором этаже — родители, на первом — Игорь с семьёй...

Лай собак слышится за воротами: но добрые они, крутятся рядом, когда гостите...

На веранде бы: да холодновато: значит — разместитесь на кухне, будете пить за Новый год, растекаться в счастливом безмыслии, шутить.

И будет плыть, сияя звёздным инеем, пространство над старинным городом.

...первого звали — Джек: тогдашняя твоя знакомая подобрала щеночка на улице, а у самой жили — собака и две кошки; принесла тебе.

Он был очарователен: йодистого окраса, с белыми чулочками и белым на груди пятном, и с глазами — такими огромными, словно в них отражалась вселенная...

Он был очарователен: собачий принц: типичный двортерьер... И вошёл в квартиру органично, будто был всегда, и мама замирала над ним, маленьким пока, таким деликатным, мудрым — потом...

Он сопровождал вас с мамой одиннадцать лет, и когда умер, было так — будто шар разорвался в голове.

Завернув в простыню, положили в коробку, несли хоронить в лесопарк, в роскошно-пламенеющий, византийский лесопарк, и рыли землю, и рыдания застили глаза...

Потом появился Лавруша: маленький пудель — золотистый, хотя в паспорте значилось — абрикосовый: скандальный такой, забавный, так мощно прыгавший — словно перелетал с кресла на диван...

Когда Саша писал, Лавруша (он же Карлуша, Лаврентий) сворачивался на стуле за спиной, было так тепло, будто разливалось счастье: в пространстве комнаты, в пределах квартиры, которая без мамы — будто с вырванным сердцем.

Лавруша маму признал хозяйкой, спал у неё в ногах, утром приходил к тебе. Джек признавал хозяином тебя.

Собаки редко переживают хозяев. Во всяком случае мне этого не удалось изведать.

Когда умер Джек, ты писал стихи его памяти, растворяясь в них, собирая слова в строчки так, будто это — последние стихи.

И вдруг — ощутил: самою алхимической бездной сердца, а — как будто увидел: огромный Джек, размером со льва, но весь — небесно-золотистый — возлежит на роскошной поляне, и словно идут, лучась на тебя, мудрые его слова: «Не переживай! Я здесь теперь!»

...мы гуляем по Софии с мамой: в Москве идёт Олимпиада, и папа фиксирует тщательно всё, подсчитывает очки, медали; а мы... гуляем по Софии, приехав по приглашению, и степень родства с дедом Борей мне не восстановить теперь.

Мы гуляем по Софии: и нумизматический магазин на главной улице завораживает ребёнка (покрытый патиной купол университета мерцает вдаль). Заходим, но ассортимент не богат, и только советские олимпийские монеты, которых не достать в Союзе, сияют — по запределным ценам.

Ловкий парень подмигивает: мол, отойдём. Я толкаю маму, выходим вместе, идём в переулок, сворачиваем в тишину подворотни, он начинает говорить на болгарском, но, услышав ответы, переходит на русскую речь. Достает пару монет: отчеканенных в пруфе, зеркально сверкающих, с матовым рельефом, упакованных в специальные коробки, и мама покупает мне их: сияющие, великолепные.

В монетах качества пруф видно своё отражение, но лицо кажется странноватым — это я?

...это я вообще? Или давно не-я вытесняет?

Мы гуляли по Софии и с дедом Борей, повествовавшим о старых церквях, переулках, о моментах истории; он, будучи кадетом, бежал в семнадцатом; в отличие от большинства соотечественников, осел в Болгарии, женился, родил двух детей...

Ему под девяносто, он живёт один (хотя дети навещают часто), в набожно аккуратной квартире, читает, используя лупу, на болгарском, французском и русском, готовит нам национальные блюда...

— А Лёшку помните? — кусок разговора на кухне его, сверкающей чистотой, всплывает...

— Мальчишку? Под стол пешком ходил?

— Завтра женится...

Мы не были на свадьбе у старшего двоюродного брата.

Дед Боря смотрит поражённо: и теперь, представляя, какая дуга времён мелькает в его сознании, понимаю его...

Воздух пропитан ароматами детского счастья: море в Бургасе смеётся, в Пловдиве мама заходила к коллегам, бывшим тогда в командировке; и там же заглянули в мечеть...

Пёстрые ковры, лазурь и бирюза, тайна чужого космоса.

...тайна космоса в нас иногда, причудливо искажаясь алкоголем, им же просвечивается многоцветно.

Одноклассник, заснувший на угловом диване на кухне, где пили, пробудившись, откинув плед с ягуаром, глядит тяжело — как ты, Саша, пивший с ним вчера: долго и упорно, заносясь в вихри метафизики и блуждая коридорами воспоминаний...

— О-о-о, — гудит одноклассник. — Постарели, да. Раньше бы такую дозу и не заметили...

Стол ужасен: шкурки колбасы мешаются с распотрошёнными семечками, хлебные крошки повсюду, посуда с остатками еды — как поле битвы... Водки в литровой бутылке под столом достаточно.

— Осталось?

Кто спросил? Может быть — не-я.

И Саша, и одноклассник ныряют под стол, но на смех нету сил: пока...

Рюмки незачем мыть — продезинфицированы. Первая — обнажает похмельную суть, приводя сознание в плавучий остров...

...мозг проплывает мимо — лови его!

Саша, оживая после второй, встаёт, посуду относит в раковину, моет, отчищая. Затем — жарит яичницу, пристрастно глядя, как прозрачность превращается в почти византийскую эмаль...

Я ходил этими улицами!

— Знаешь, Тоха, — обращается к однокласснику. — Я жил в Византии, я чувствую это...

— Реинкарнация?

— Да... Хотя это не делает более лёгким настоящий процесс бытования...

— Где же сохраняется носитель информации, когда из тела вырастает груша?

— Возможно, есть другие тела, которых мы не ощущаем в жизни этой... Об этом можно прочесть, но сложно почувствовать.

Яичница на столе. Счастливым яд наполняет рюмки.

...кажется, девочки из класса сейчас появятся: было несколько красавиц! Уже давно многожды мамы, не поняли бы такого алкогольного загиба.

...плавание на синевато-мерцающем водочном облаке продолжается, даря симфонией ощущений.

...бродил теми улицами, заходил в мастерские, наблюдал за рождением эмалей: и синий цвет был столь концентрирован, что, если разбавить бы, хватило окрасить море.

А в порту качаются башнеподобные корабли: тот из Венеции, сей из Рагузы...

Мальчишки играют, поглядывая на них с завистью, но и с — ощущением грядущего: и мы когда-нибудь поплывём.

Слух василевса за обедом улаживает орган: инструмент, ещё не подозревающий о своей церковной сакральности.

Лестницы сияют, и внушительные золотые львы у оснований свидетельствуют о вечности империи: столь же вечным мнился СССР.

Приземистые, плечистые базилики: и иконы, иконы, мастера которых проявляли «искусство глаз»: взгляд прожигать должен, призывая жить по-другому.

Сложно-кропотливый труд переписчика, вершащего эстетические сады с бесконечной внутренней молитвой.

Виноградники, чьи гроздья наливаясь соком, сулят благородство вина.

Бесконечная история — с такой летописью властителей, что простое перечисление читается, как художественное творение.

...кем я там был?

Мальчик, превращающийся в средней руки чиновника? Или?..

Майский жук летает, нарушая законы аэродинамики. На даче под Калугой Саша и Димка замирали, ожидая тяжело летящего, великолепного: надо непременно поймать! Поймать, рассмотреть, посадить в коробок, послушать, как скребётся там, выпустить...

Коричневатые, с седой опушкой, с цепкими, переборчивыми лапками — таинственные вестники природы, пусть и непонятна весть...

Шёл недавно, шёл — уже в нынешнем своём воплощении, и на пыльном асфальте увидал — ворочающегося, на спине лежащего... Не получается у него перевернуться... Поднял осторожно и двигался дальше, осторожно неся, чувствуя такие приятные касания остреньких лапок... Потом — посадил на траву...

Как он воспринимает жизнь? Зрение животных можно изучить, построить картинку, что видят, но никогда не понять, как воспринимают виденное. Тем более — жук; возможно — он одно сплошное восприятие яви?

...дуга, резко мелькающая в сознании: дуга, финальным своим хвостом возвращающаяся в коммуналку, где сегодня к Машке пришёл брат Володька: заострённо-вертикальный, тощий, чем-то похожий на волка.

Никогда не скандалили, запирались у Машки, тихо пили, но сегодня Володька притащил Саше морской бой: чудную игру: затянутые плексигласом нарисованные морские просторы: надо расставить маленькие кораблики с двух сторон и, щёлкая крошечными пушечками, выпускающими ядра, стрелять по кораблям противника...

Саша сидит на полу, щёлкает один, думает, кого позвать: Алёшу? Олега? Обоих? Пока Машка и Володька плывут в алкогольном облаке счастья, которое Саша узнает через много-много лет.

Область снов порою пересекается с действительностью, которая окружена этой областью, плотно в неё закутана...

Шёл в недрах метели, разыгравшейся в городе, шёл, чувствуя студёное её, великолепное дыхание, и возникший впереди величественный контур нерусской церкви показался слишком контрастирующим с белой этой, живой и живо меняющейся наволокой...

Шёл на контур, смутно рисующийся, высоко и резко вытянутый в исчезнувшее небесное пространство; и человек, мелькнувший впереди, показался знакомым даже со спины...

Заспешил, что-то странно чувствуя.

Метель крутила виражи, выписывала формулы себя же; стихала как будто, но снова добирала сил...

Метель играла, а человек впереди шёл не так быстро...

Я догнал его: он был в кожаной куртке, привезённой мамой из Польши, у которой вечно не застёгивал ремень, так и висели хвостики, я догнал его, обошёл, заглянул в лицо, воскликнув: «Па!»

Незнакомое лицо упёрлось в мой взгляд...

Я растворился в метели сна, спутанного с реальностью нерасторжимыми волокнами.

Синевато-мерцающий неприятный свет в отделе кадров, и — юноша, пришедший с мамой: домашний, книжный, устраиваться на работу в библиотеку вуза, заполняет анкету, чувствуя себя муторно, тяжело: ибо хочется в жизни только писать и читать.

Надо жить.

Пубертатный криз, пережитый в школе, сильно перерезал крохотную жизнь, и, заполняя анкету, думает, что не сможет влиться в коллектив, не сможет тут... работать.

СССР. Восьмидесятые...

Вот он выходит на работу, говорит с заведующей. Что такое библиотеки тогдашние? Замшелые тётки, мрак и беспросветность бумаг, жуткие монументы томов классиков марксизма-ленинизма...

На абонементе стеллажи были деревянные; чтобы снять верхние книги, надо лазать было по полкам скрипящим; и — неожиданно коллектив оказался молодёжным: система такая — не поступил на дневной, поступаешь на вечерний и год работаешь... в библиотеке, например, или на кафедре...

Он не такой — ощущалось...

Они — молодёжь — насчёт романов, компаний, выпивки, а он сидит, когда время есть, книжки читает...

Его надо втянуть? Или — он хочет втянуться?

— Пойдёшь пивка попить? — спрашивает Борис: разухабистый матерщинник, пошляк, не интересующий никакими книгами...

Соглашается — внезапно для себя...

Они выходят в коридор, где стоит, подпирая стену, Шереметьев, с которым знакомит Борис: вместе учатся на вечернем. Говорлив, вальяжен, шутлив, габаритный, весёлый...

Идут, топчя снег, ранний вечер февраля переливается фонарями: безнадёжно советскими...

Пивняк — огромный ангар, набитый людским скарбом, и алкаши в пальтецах, подвязанных верёвочками, мешаются со студентами, и мелькают интеллигентные очки, всё кружится, течёт...

Нужно стоять к автоматам: с подносом, на который водружены толстые кружки, и в них льётся жидкий янтарь...

Место занять сложно, но этим троим удаётся.

Они говорят о девчонках: Борис и Шереметьев говорят пошло, а Саша пробует пиво — горечь вливается странно, не слишком влияя на мозг.

Гуд и шум пластаются в пространстве.

Кто-то решает кроссворд, другой чистит серебристую воблу.

Разговор вдруг вспыхивает тройной: просто перебираются разные мелочи, Шереметьев интересуется, будет ли Саша поступать, анекдоты мелькают.

Саше становится хорошо на миг, он начинает о литературе, потом понимает неуместность сего, проваливается в какую-то весёлую историю.

Потом Борис и Шереметьев увеличиваются в размерах, распухают, всё качается; шатаясь, быстро простившись, Саша уходит... Дорога окажется долгой, будет парня рвать в сугробы в тёмных дворах.

Попробовал пивка?

Через месяц Саша стал своим в библиотечной компании, и то, что работа тут растянулась на тридцать лет, волокнами взаимоотношений мешаясь и переплетаясь: разными с разными, — кажется странным самому.

Долго работал, уже печатаясь всюю, ничего не понимая — зачем? Кто заставил писать?

...покачиваясь на узлах которых, интересно скользнуть в бурлески и бури Гофманианы, когда грустный Гофман, пообщавшись с девушкой-смертью, переносится в квантовый мир, чтобы перестать быть грустным, и увеличивая лёгкость фантазий...

О! майские жуки, используемые Гофманом для сказок, будут сверкать золотыми перепонками, которых нет у настоящих, и Саша, раскрывая том, увидит чернильное озеро, в которое загонят мерзкого Цахеса обстоятельства...

А в чём он, собственно, виноват? В том, что Гофман, используя метафору, сделал его уродцем? Бедный, маленький, страдающий, пожалела фея...

Гофман, как летает в свободных пространствах, пласты которых подарят столько фантастических образов? Рядом ли с тобой великолепный, в халдейской хламиде архивариус со снежной бородой, развевающейся до звёзд? Тронуть рукой? Снять одну — чтобы поместить на ёлку вместо болгарской игрушки, давно разбитой, как облетели листья стран с детской карты?

Круги Гофманианы стягиваются туже, Гофман спускается в кабачок, чтобы заказать много кружек пива, и видит перо, которое, не требуя автора, изображает историю славы и огня, фантазмагорий и скудости жизни, смерти, смерти, смерти...

...о чём разговаривали ёлочные игрушки, когда никого не было дома — мальчишка играл в снежки, родители на работе?

Прозрачная темнота зимы, исколотая не больно белыми иглами, располагает к фантазиям...

Гномик, посверкивая красным колпачком, сообщил шару, что круглое не значит верное, а шар надменно молчал...

Возможно, олень, слишком гордо вздёрнувший голову, замечал звёздочке, что её высота не свидетельствует о богатстве опыта, и она соглашалась, отмечая, что, мол, да, олень не хуже...

Снежки летели в Алёшу, он уворачивался, кидал свои.

Дом смотрел насупленно, заштрихованный белизной.

Новый год шёл, переваливая через сугробы.

Гномик, глядя на верхушку, венчавшую ёлку, думал, что до неё не добратся.

Она была властная, светлая, сильная, готовая всем всегда помочь, стремящаяся всех всегда накормить: готовила прекрасно.

...30 декабря Саша, мутно плавая в ощущениях, воспоследовавших обычно за днём рождения, взял завибрировавший мобильный.

— Ты сидишь? — спросил старший двоюродный.

— Да. А что?

— Марина умерла.

Повисла клякса паузы, тяжело расплываясь в воздухе.

— Маме ты сообщишь? — спросил Саша, видя, как в пространстве образовалось зияние.

— Нет, уж сам давай.

— Ладно, пока...

Мама на кухне, мальчишка там же... что-то делал.

Мама на кухне, Саша идёт туда, не зная, как сказать, слова теснятся, собираясь пёстрыми комками.

Говорит.

Мама, вздыхая, захлёбываясь почти, не плача, ложится — как сидела...

Она бормочет: «Меня собиралась хоронить, Саш. Я ей говорю: Саша же растеряется, она отвечает — не переживай, всё сделаю, всё куплю»...

Марина — калужская двоюродная сестра — помогала всегда и всем, хотя резкой в жизни была, экспансивной, импульсивной... Нельзя сказать, что дружили: разные города, потом она с семьёй одно время жила во Владивостоке.

Нельзя сказать, что дружили, но — шло дополнительное тепло друг к другу, и когда переписывались по интернету, и когда перезванивались, и когда бывал в гостях.

Офицерский дом (муж — полковник) вырос в пространстве, открывавшемся за поселениями дач; такой — дом на ветру, и, бывая у них, всегда попадал в недра уюта и тепла.

Господи! Как не хватает тепла из-за смертей!

Что же громоздится везде — страшное, равнодушное?

Марина умерла. Всего 65 было.

Шли, как в детстве: сквозь лесополосу, резко извергавшуюся вниз, к реке; шли, нагруженные сумками со снедью и питьём, шли к реке отмечать день рождения старшего двоюродного: он, Саша и один из сыновей Алексея...

Корни, мощно разрывая землю, тянулись, живя своей жизнью; органичные стволы деревьев сильно, хоть неслышно звуча, входили в небо; река мелькнула — маленькой казалась отсюда, ещё надо пройти...

— Как кто переправляться-то будет? — спросил Саша...

— Переберутся как-нибудь...

Уже несколько человек ждали: брат общителен, дружелюбен...

Партия других гостей махала приветственно с той стороны Оки, лодка курсировала медленно...

Дуб — роскошен и силен: крона кажется бесчисленной, и именно под ним расстелили подстилки, стали выгружать снедь...

Всё закипит быстро: шутки, тосты, на отдельные группки разбивающиеся люди, ведущие свои разговоры; и Саша, счастливо опьяневший, подходит к здоровому Аркашке Троицкому, неожиданно для себя говорит: «Вот тебе моя книга, а то будешь думать, что я только пью!»

Аркашка... о нём не знаешь толком ничего: друг брата, технар, очень здоровый человек: и вдруг он вскакивает, поражённый, кричит жене, чтобы дала ручку, объясняет: «Мне автор впервые книжку дарит».

Закорючка надписи прозмеилась...

А дальше — вечер проводили вместе... Помнится, сцепив руки, войдя в воду, подбрасывали девчонку Аркаши, говорили о чём-то, выпивая постоянно... Компания под конец расколосась: наиболее стойкие пошли допивать в квартиру Алексея, Аркашка пропал...

Через много лет позвонил Алексей:

— Аркашу Троицкого помнишь?

— Да.

— Ну всё...

— Что — всё?

— Приказал долго жить.

— Как?

— Так вот...

Алексей рассмеялся нелепо: всегда говорил: не боится смерти, что её бояться...

Боюсь ли я, вспоминая тот вечер на берегу Оки, бархат воздуха, пьяные голоса, великолепие веселье?

Метафизическая Ока течёт, всех смывая.

...замшевые мешочки, посмеявшиеся и над Койлем, и над Кротером: замшевые мешочки, введённые в мир персонажами в рассказе Додерара, вероятно, не понравились бы Ульриху, стремящемуся к отказу от свойств ради точного выяснения собственной тайной сути: ускользающей от бесконечных усилий ума...

Таинственно работающие щупальца памяти, так живописанные Прустом, бесконечным ловцом былого, какое столь своеобразно показано растекающимся временем Дали; мощно организованный космос культуры: разнопланово-объединённый, со вспыхивающими звёздами мыслей, с музыкой, исходящей от небесного органа.

Красота органа земного, организованного воплощённым музыкальным текстом: в потенции вся музыка мира заключена в молчащих трубах и нетронутый, тройной клавиатуре...

...крутые виражи дантовского спуска завораживают полётом: избыточная плотность всего, вмещённого в поэму, утверждает бесконечность бытия, не требующую доказательств, и, снова перебирая золотые звенья, вдруг вскрикивает пожилой Саша: «А-а-а... все они не отменяют смерть».

Не отменяют.

...маленькая женщина с сине-стальными глазами сразу поразила, спросив:

— Что вы чувствовали, когда с вами работали со свечой?

Ещё на «вы» были.

Вздрыгнул — откуда знает? О том, что посещал магический салон, не рассказывал никому.

Двоюродная сестра спросила: «У меня — кабинет в кабинет — биоэнерготерапевт работает. Милая дама. Хочешь пойти?» Это — в Калуге, сестра врач-массажист, и вот — отвела.

Жизнь распадалась, как намокший хлеб в руке; и мрачно-насуспенный вошёл за сестрой в кабинет к Галине Андреевне, где на столе стоял таинственно мерцающий стеклянный шар на подставке, а в окне был фрагмент тихой, ветшающей Калуги...

Галина зажгла свечу. Она горела ровно, огонь поглощал тонкое восковое тело.

Разговор пошёл как-то сразу легко, и, словно затягиваемый внутренним составом в нечто необычайное, Саша ощущал странные вибрации: будто космос с бесконечностью параллельных миров становился ближе.

Подружились потом. Бывая в Калуге, а некогда это случалось часто, заходил к ней всегда, разговаривали, и всё тшился узнать: как там — за гранью, за физическим пределом?

Смеялась часто, отвечала, как могла, иногда оговариваясь: об этом я не могу сказать...

...не представить — умерла в 55: наклонилась на работе, и... разбил инсульт.

Могла ли знать об этом?

...было — переживание бездны, обрыва...

Не переживай, мальчик!

Выводи скорее свой трёхколёсный велосипед, малыш: выводи его, тебя хочет сфотографировать папа, которому ещё столько жить, какой так молод...

Выводи велосипед! — впереди вся жизнь.

P.S.

ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ

...и пошли с Валентином Дмитриевичем от обширно-палаточного рыболовного ста-на к Вырке: маленькой, быстро вьющейся речке, впадавшей в Оку...

В отцы ли годился Саше? В деда? Не думал тогда...

Шли по траве, Ока текла параллельно ходу: так, что движение не ощущалось, но оба знали, каково её сносящее течение...

— Александр Львович, — говорил несколько замедленный, головастый, с утиным носом Валентин Дмитриевич, — немножко на наживку рыбку половим, чтобы посе-рьёзней улов был, да?

— Да, Валентин Дмитриевич, — отвечал Саша, расслабленный обширной рыбал-кой. — Я не рыбак вообще, но люблю обстановку эту, разнообразие ночи, лисий ры-жий хвост костра.

Спускались к Вырке — гладко и плоско текущей в Оку, и песчаное дно, испещрённое непонятными письменами, видно.

А берега... О! какая поэзия трав: пижма покачивает золотыми бубенчиками шутовской головы, мощно, слоновьими ушами прорисовываются лопухи, и жёсткие кусты татарника поднимаются резко, словно даря седоватые свои колючки миру.

Удочка только у Валентина, Саша не собирался удить.

Рыбак говорит своеобразно: с ласковой тишиной, закидывая удочку, словно предлагая:

— Ну, рыбка, попробуй-ка, вкусный червячок.

— Не увлётся рыбалкой, самим процессом, — повествует Саша. — А вы... всю жизнь?

— Да, с детства. Калуга же, тут все у нас рыбаки.

Резкий зигзаг, и лупоглазый пескарь шлёпается на траву... В маленькое ведёрко переселённый, чертит там, едва ли предчувствуя гибель...

Солнце августа жарит, алхимически пронизывая разнотравье, и хорошо, стрёкот кузнечиков, как на даче...

Возвращались в лагерь с полным ведёрком: многолюдный лагерь, и две крупные собаки мелькают. Взрослые, дети, всё мешается, и пьют взрослые много, но без перехлёста, поддаты все, веселы, словно физически вошли в область счастья.

Валентин Дмитриевич — одноклассник дяди Саши, Геннадия: он же — крестный, и с Валентином дружила мама, когда жила до 1955 года в Калуге; Саша, сляясь представить ту жизнь, деревянную Калугу, одежду тогдашнюю, встаёт в тупик.

Вот бородач весёлый, крепко сбитый подбегает: Геннадий.

— Ну как, дядь Саш, не устал ещё?

— Да нет, Геня, — улыбается, жуя травинку.

— Порыбачить не хошь?

— Какой из меня рыбак...

— Тогда — давай по рюмочке.

Шаткий стол, заставленный бутылками, рюмками, мисками, крошки хлеба раскиданы, еды бралось много, и — будет много готовиться ближе к вечеру...

Солнце играет, уходя в странную синеву собственного диска.

Ночь густа: всюду пролитая нефть, и кажется — Оки не видно: но нет, течёт, всё в порядке.

Потрескивают дрова, быстро обугливаются мелкие ветки, оранжевое золото вспыхивает, переливаясь, и языки огня напоминают древние письмена.

— Смотри, Валентин Дмитриевич, — говорит Саша, подгребая веткой рассыпавшееся поленце, — языки огня — как природные надписи.

Они остались вдвоём: все легли, спят.

Таинственно, двумя огромными крылами мерцает густой лес — за метров триста от лагеря.

В.Д., ловко вытащив из старого рюкзака бутылку лимонной, словно шутя, бросил её Саше, обрадовавшемуся:

— О, у нас ещё горячее есть!

Пьют из пластиковых стаканчиков.

— Надписи, — задумчиво протягивает Валентин Дмитриевич. — А как ты их прочитаешь?

— Мне часто кажется, что природные орнаменты — кора, сплетение веток, языки костра вот — есть варианты языка: не прочитанного, не усвоенного.

— Конечно, так мыслить интереснее. Прямое, как оглобля, мышление — как крест человека, на самом деле всё настолько усложнено, орнамент входит в орнамент.

Нечто о социальности: не только же метафизика, и Саша, пьянея и заводясь, вспоминает взаимосвязи Ницше с фашизмом, о котором и не подозревал.

Дома, в Москве, рассказывал маме о знакомстве с Валентином, она, всплёскивая руками, радовалась, приговаривая:

— Надо ж, как интересно плетётся орнамент жизни.

Она же и поведала: сын Валентина разбился на мотоцикле, после Валя разошёлся с женой, она — этническая еврейка — уехала к родне в Израиль, Валентин доживал один.

— Он сотрудником музея космонавтики долго был. Статьи ещё писал. С Геней они в ПТУ учились, но потом Валентин получил и высшее...

Ночной звонок расколол космос квартиры: мама говорила в трубку: нервно, сжато:

— Да. Да. Ох... Ой-ёй-ёй, держитесь, мы приедем скоро... Саша, — крикнула, повесив трубку. — Гена умер.

Не спал, разбужен звонком. Вздёрнулся:

— Как?

Не представлялось: месяц назад были у них, в Москве: дядя и тётя, ничто не предвещало. Как можно предположить: чуть за 60, вечно подвижный, много на природе проводящий времени Гена — умер? Ничем не болел.

...в воздухе возникает прореха с обугленными краями.

Февральская ночь густа, и до рассвета уже не заснуть; и надо договариваться — на работах...

Ехали на автобусе: серо-стальные полосы яви неслись мимо; шли потом по заснеженной Калуге, миновали знакомые виды, и у самой двери дома встретили Валентина.

— Валь, ты? — воскликнула мама.

— Он, — со странной интонацией молвил Саша...

Обнялись с мамой. Завертелась похоронная траурная суета, топтался снег...

За день до похорон были у Валентина Дмитриевича с двоюродным братом, взяли, конечно, бутылку, растерянные все.

— В церкви тяжело будет, — вдруг сказал Саша.

— Что ты, какая церковь?

— А отпевания не будет?

— Нет...

Вспоминали общее, связывавшее, а Валентин Дмитриевич рассказывал об их... петучилище, как называл ПТУ.

На какой-то день после похорон (Саша остался на неделю) В.Д. превратился в Валу: Саша зашёл, тот принял радостно, и сидели на кухне, по традиции, и Валентин сам предложил перейти на ты...

Видал ли в Саше сына? Отношения сплелись: литература и философия, социальность и просто жизнь: рыбалка, путешествия, работа...

— Валь, меня всегда Циолковский интересовал.

— Саш, я не в доме-музее работал, а в музее космонавтики — ты понял?

— Да, Валь, — мерцая возникает в сознание крупный, купольный музей.

— Но всё равно, да — он очень странный был: возможно сие — следствие дара:

таинственного, согласись.

— Конечно. Он мистик был.

— Саш, я не очень верю в мистику, да и не ощущал ничего подобного. Я рассматривал Циолковского в советском ключе: изобретатель, учёный. Он же без конца всевозможные механизмы ладил: сложнее, проще...

— Слушай, а как он семью кормил?

— Преподавал, но они же бедно жили. Потом — пенсия именная.

...могила Циолковского в парке. Крупные сети древесных ветвей ловят ворон, грающих тревожно.

...приезжая в старый город, Саша первым делом звонил Валентину. Ходили, бродили с ним по Калуге: иначе раскрывались переулки под рассказы старшего: вот купеческий дом, а здесь...

Фрагменты истории мерцали, вдруг вспыхивая ярче. Математик, живший в угловом доме, представлял фанатичным заложником формул, а краевед, столько сделавший для увековечивания истории края, жил замкнуто... Вон там.

Потом возвращались к Валентину домой, сидели на кухне, хозяин возился с закуской: делая всё основательно, неспешно, как говорил: жарил, например, картошку, пока Саша резал селедку, колбасу.

— Валь, ты веришь в продолжение жизни?

— Сложно ответить, Саша, я ведь советский человек. Этот дух противоречит подобной вере, но в глубине, в самом центре собственного сердца, есть чувство продолжения. Должно оно быть — а иначе зачем такое нагромождение сложностей? Чтобы всё исчезло...

— Я — похоже отношусь, хотя страшно всё равно. Я церковь не принимаю, особенно современную, но крестился взрослым — знаешь? — Гена крёстным отцом был...

— Знаю, конечно...

Он начинает о сыне, хотя не любит вслух о трагедии, но мелькает всё равно, всплывает иногда в разговоре: узлами, изломами.

В беседах всё смешано — вся прелесть именно в этой орнаментальности русских разговоров под водку: жизнь, былая и настоящая, философия, хоть Фёдорова, хоть Гегеля, стихи, читаемые вслух, сверка опытов, клочки воспоминаний, принадлежащих только тебе.

Пёстрый, завораживающий космос.

Смерти шли густо, но родственников оставалось ещё немало, и Саша, приезжая в Калугу, по-прежнему первым делом шёл к Валентину.

Жена приносила ему яблоки, мясо, зелень, стеснялся, но принимал: пенсия маленькая...

— Мне хватает на всё, Саш...

— А чай ты пьёшь?

— Конечно. Самый дешёвый. Понимаешь: я получаю стипендию, и первым делом за кубатуру плачу, — он словно окидывал руками квартиру. — А потом беру чекушку и, вернувшись, сразу выпиваю... почти стакан, и — мысли, они так интересно плетутся, я записываю, допиваю водку, ложусь подремать... Потом, встав, читаю и рву...

— Думаешь — ничего не вышло?

— Нет, Саш, кому они нужны, мысли мои...

— Ты же печатался, бывало?

— Было, давно довольно.

Фотографировал великолепно: работая только в чёрно-белом варианте. Портрет собаки. Портреты деревьев, сделанные так, будто живые они, одушевлённые, и кора видна каждой складкой — читай их, что книгу. Виды Калуги: всегда необычные ракурсы. Некоторые фото наклеены на коробки из-под печенья и так развешены на стенах.

Валентин достаёт альбомы: всё — чёрно-белое. Прекрасны натюрморты: сигареты дымится, прозрачная чёткость стаканов мерцает таинственно.

Снова — городские виды, люди, словно пойманные сеткой момента, редко — портреты: но такие, что синтаксис лиц читается, как признание души.

— Валь, нужно ж выставку тебе сделать! А? Давай Лёшке позвоню, у него ж связей полно...

Лёша — двоюродный брат, действительно связанный с половиной города.

— Брось ты, Саш, — тихо, смиренно-юмористически говорит Валентин. — К чему это? У меня тоже предостаточно знакомых было, где все теперь.

Ещё рассматривают альбомы.

Портрет Паустовского колоритен, фото, изобразившее маму Гагарина, вызывает щемление грусти.

Водка сладким ядом мерцает в рюмках.

...я маленький, Валентин — как Аксентий Поприщин...

— Валь, понимаешь, — за окнами: банальность сложнорельефного калужского двора, где сыто чмокает на площадке детский мяч, — альтернативная литературная реальность долгие годы была мне важнее первой: из которой черпается зыбкий, ускользающий материал — для гипотетической вечности...

— Ты веришь в оную?

Валентин приготовил замечательную солянку, которой и закусывает.

— Гипотетическую, я же говорю. Конечно, даже о литературе Атлантиды человек не имеет ни малейшего представления, а это было каких-то десять тысяч лет назад, что уж там серьёзнее...

— Более того, Саша, человек не знает, была ли та самая Атлантида. Но, как я люблю говорить, всё зависит от кочки зрения: сначала надо договориться о понятиях: что идёт за чем, что первично...

Портрет собаки вызывал особые чувства.

У Саши тогда был Джек: собачий принц, восхитительная дворняга с улицы — подобрали щенком. Небольшой, очень пушистый, йодистого окраса, и такой красивый, что на улице, бывало, люди останавливались, интересовались: что за порода такая?

— Рыжик моего звали. Очень, знаешь, интеллигентный пёс был. Один раз за всю жизнь тапку изгрыз, и говорю я — Рыжик, Рыжик, ну что же нахулиганил... И он смотрит в пол, будто стыдится...

В другой раз рассказывает Валентин:

— Родительница моя тихо умерла: сидела в кресле, откинулась, и всё...

Тогда мама была относительно молода, и Саше казалось, что жизнь её будет бесконечной. Теперь, когда мелькнувшее время обожгло своею краткостью, всякое воспоминание о чувствах других, связанных с уходом матери, вдвойне болезненно, но и — объединяет: мол, человечество единый круг.

Как бы отнёсся к этой идее Валентин?

Из бездны детства: И шли мы с мамой заснеженным полем в город, в Калугу в смысле. Ехал фриц на телеге, страшно ли мне стало? Кто его знает, не вспомнить... Но он подвёз нас, просто подвёз. Как мама с ним разговаривала, не помню. Жестами, вероятно...

Тяжело заснеженное, пухлое поле, тяжёлая телега, и фриц, правящий кривой лошадейкой. Мальчик смотрит испуганно.

Перебираешь камешки жизни, на многих — иероглифы знаков.

Слушали с Валентином советскую эстраду; слушали, опьянев, Герман, Кристалинскую; старые пластинки блестели в свете лампы и закипали изумительным звуком, и мы, переместившись в комнату, покуривая, продолжали говорить.

Калуга наливалась ночной чернотой.

Потом Валентин отказался от общения. Он старел, уходил в себя, ему требовалось окончательное одиночество. После шести лет общения Саша воспринял это ударом, хотя и понимал психологические мотивации.

В себе. К смерти. Всё стягивается к ней.

Он отказался от общения и с двоюродным братом, не открывал дверь, не отвечал на телефонные звонки.

Раз, когда сидели на даче Алексея, умудрился всё же дозвониться ему, передал трубку Саше:

— Живу, Саш, — говорил Валентин тихо. — Как растения. Как ты считаешь — они мыслят?

— Да...

— Ну, значит, мыслят ещё...

Попрощались.

Солнце роскошным цветком опускало лепестки лучей в недра знакомого дачного участка.

Потом Алексей сказал, что пробивал по своим — Валентин умер.

Смерти всегда организуют прорехи в воздухе: и чёрное зияние с рваными краями будто норовит засосать и тебя, втянуть поскорее: всё равно ж уходить...

Но звучит в сознании голос Валентина Дмитриевича: спокойный, отчасти стоический, неспешный, словно убеждающий, что и на том свете, к которому становишься всё ближе и ближе, идёт жизнь: да ещё и более многокрасочная, нежели тут, на земле.